84(2=632.1)
Б-386

Бронтой
Бедюров

ПЕСНИ МОЛОДОГО МАЙМАНА

Первая книга в столице

242690

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Возвр. перед выдач.

Потер. тип. 100.000 В. 298—79

Бронтой
Бедюров

Песни молодого маймана

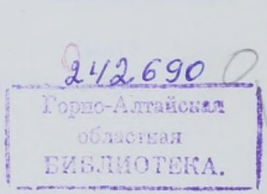
СТИХИ

Переводы с алтайского

73

«СОВРЕМЕННИК»,
МОСКВА · 1975

(Алт)
С(Сиб)
Б38



Бедюров Б. Я.

Б38 Песни молодого маймана. Стихи. Пер. с алтайского. М., «Современник», 1975 (Первая книга в столице).

61 с., 1 л. портр.

Первый сборник молодого алтайского поэта на русском языке, в него вошли стихи о детстве, о матери, о первой любви, о суровой и прекрасной природе Алтая.

Б $\frac{70403-190}{М106(03)-75}$ 200—75

Б38

©ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВРЕМЕННИК», 1975 г.

* * *

Голубая
на востоке
есть высокая страна,
что в положенные сроки
стужею раскалена.

И, надеждою врачуя
в сердце рану не одну,
очарованно лечу я
в эту синюю страну.

Днем и ночью там из тучи,
продолжая с небом связь,
на долины и на кручи
звезды падают, светясь.

И, касаясь небосвода,
дива дивного полна,
в ясной близости восхода
эта высится страна.

Ждет меня там конь крылатый,
ждут друзья,
отцовский дом,
грани выси угловатой
в облачении седом.

Наброски горных равнин

1

Ночь.
День.
Капли, стекая
по темной коре,
падали на лицо.
И в тишине
бус дождевых
слышался мне
перезвон.

2

Угнали синеву на север облака,
гряда вершин вновь отозвалась грому,
и небо,
став дырявым, разревелось,
был бесконечным чмокающий дождь.
Он припадал к земле,
чтоб даже в тундре горной,
которая бесплодною казалась,
произошло рождение травы.
Прильнул к земле я ухом
и услышал,
что сабелек зеленых грянул звон.

3

Конь храпит подо мною на горной тропе
и грызет удила и глазами косит,
может, барс притаился за ближней скалой,

иль ощерился бездной взметенный гранит...
Зря хранел мой скакун. Нам никто не грозил.
Возвышался валун,
за которым цветы
мне стыдливых девчонок являли черты
и украдкой поглядывали на меня.
И коснулся коня
я колечками шпор,
лихо гикнул,
и вылетел он на простор.

4

Туманами дышал проснувшийся таскыл[1],
по челке ледника луч утренний скользнул,
покинув высь,
он прыгнул мне в седло.
Воскликнул я: — Держись!
Хватайся за луку!
Коня свободна рысь. Поскачем на луга!
Там взвился бубенец под купол голубой.
На стойбище с тобой
заскочим мы.
Держись, мой мальчик —
солнечный юнец!

5

Привет тебе, любезный Токтубай,
равнины горной
житель тороватый.
Я твоего аила завсегдатай.
Доносится собак знакомый лай,

[1] Таскыл — горная тундра.

и вижу, как дымятся тюндюки[1],
чьи струйки дыма
мне всегда сладки.

6

Дождь над горами повис,
и кажется, будто бы гребень
синюю косу небес
расчесывает не спеша.

А на душе безмятежность
и столбок тревоги.
Сквозь узкий глазок дымоход
и вижу огромное небо.

7

Белая, как облака,
поднесена арака.
Говорит ото всей души
мне Токтубая мать:
— Ты пиалу осуши
и к очагу присядь! —
Стара и добра она.
Пью пиалу до дна.

8

Рдели угли в очаге,
и захотелось
мне запеть так просто,

[1] Тюндюк — дымоход.

безыскусно,
как поют сородичи издревле,
как поет, к примеру,
Токтубай.

* * *

Как-то раз проснулся я,
и окрест
на склонах гор
был горячим конский дых
и клубились облака.

А в другой проснувшись раз,
увидал на склонах гор
киноварь пожара я
и туманность чьих-то лиц.

И проснувшись в третий раз,
я увидел пред собой
степь,
открывшуюся вдруг
на четыре стороны.

И, губами шевеля
в безнадежной немоте,
призраки
чредою шли,
чем-то схожие со мной.

Оказалось:
это дни,
что провел я вдалеке
от родимой стороны,
исходя тоской по ней.

Деревня

Все дальше и дальше
от дома родного
я удаляюсь.
Верст между нами
легло уже много,
вот я и маюсь!

Селенье, где вырос
с вершиною рядом
в сизом тумане, —
вслед мне глядит
укоряющим взглядом...

Знаю заране:

если вернусь я
по зову упрека
в родное селенье,
то вознесусь я
и вправду высоко.

Грянь, вознесенье!

* * *

Под луной я не худший самый,
сумасбродный, как пляс костра,
и хочу говорить с твоей мамой,
что понятлива и добра.

Я заранее ей благодарен,
что она,
не прогнав меня прочь,
рассмеется:
— Безумный парень,
вы мою полюбили дочь?!

Только в солнечный час иль звездный
мысль ужалит ее, как пчела,
как внезапно ты стала взрослой,
еще маленькая вчера.

Поле

Знает сердце мое наизусть,
как нисходит порой без причины
на него первобытная грусть,
словно облако с белой вершины.

Глухо-глухо вздыхает душа,
словно поле, омытое синью,
там, где травы прошел воронья
ветер, дышащий горькой полынью.

Когда еле забрезжил рассвет,
обретя чуть заметную алость,
то протяжно-протяжно в ответ
ночь душе моей вдруг отозвалась.

Будет сумрак над полем лилов,
сядет солнце, цепляясь за крышу,
но опять я, опять не услышу
крика позднего перепелов.

Песнь
о бегущих девушках

Как три косули молодых,
Три стройных девушки бежали
По снежной улице. Они
Смех белозубо рассыпали,
И на устах у всех троих
Белели розы, чуть клубясь.

Бежали девушки, смеясь,
Они прохожих чаровали,
Хоть много есть невест таких.

Упала вдруг одна из них,
Она, наверно, поскользнулась.
И я метнулся в тот же миг,
Чтобы поднять ее, но поздно,
Уже подруги помогли:
Стряхнули снег. Он падал звездно
С ее одежды. И тотчас
Свет брызнул из девичьих глаз,
Упавшая расхохоталась
И над собой и надо мной,
Смеясь с подругами умчалась,
Окутал сумрак их ночной.

Глядел я девушкам вослед:
— Куда умчались, чаровницы? —
Безмолвствовала ночь в ответ.
Но мне запомнились их лица.
Три незнакомки. Снег. Луна.

А в сердце не смолкало эхо
обворожительного смеха.
Бежала по снегу весна.
Три незнакомки. Ночь. Луна.

Песня молодого маймана[1]

* * *

В Каракольской долине
дремлющая тишина.
На плечах величавых кедров
Покоится вышина.

И бренчат удила исконно,
и трава во тьме шелестит.
А на вещей траве
отпечаток копыт.

В Каракольской долине
тревогой пронизаны сны,
и припорошены всадниками
уставшие скакуны.

Лики скачущих скрыты мраком,
в тучах кроется лунный свет.
Снова слышится:
— Стой!
Кто ты: свой или нет?!

А в ответ только топот
коней.
И безмолвья туман.
Отпрыск древнего племени —
голову свесил майман.

Но о чем он грустит,
словно стянут на сердце аркан?

---

[1] Майманы — алтайское племя.

Знаменит родословною
этот майман.

Боли своей поныне
ни разу не выдал он,
и видит в дыму преданий,
исполненный яви, сон.

Ему в Караколе ночью
напоминают костры
облики невозвратимой,
но удалой поры.

И заневает песню
он о земной любви,
языческий пламень которой
мерцает в его крови.

Ему одиноко ныне,
разлукой майман пленен.
Издалека ты услышь, Уч-Сюмер,
о том, как тоскует он.

* * *

Каракол, Каракол,
нет опоры вернее стремян.
Вьясь трона захлестнула,
как белый аркан.
И речного мятежного гула
слышит отзвуки юный майман.
Хоть не спится сегодня,
а снится
ему милая — Ару-Баян.

Горно-Алтайская
областная
БИБЛИОТЕКА

На свидание с нею
готов он сквозь темень скакать.
Без возлюбленной
ночи
легко ли ему коротать?
И зовет он коня,
где туман до колен:
— Отзовись, мой скакун,
иноходец, Кайчи-Дьерен!

И садится лихой в седло,
и, как ветер ночной, летит:
— Пой, возлюбленная со мной!.. —
Звезды сыплются из-под копыт...

— Я промчался сквозь мрак ночной,
обронив пророческий свет.
Чей-то крик у меня за спиной
полыхнул, ёловно выстрел вслед.

И сородичей в тьме ночной
видел облики я опять
с ножевым разрезом очей
и бровями — крылам под стать.

Лейся, песнь моя, животворно,
стань дождем для сухой земли,
чтоб врагу на погибель
зерна
давних чаяний проросли.

Тишина ни жива ни мертва,
тьма ночная подобна погоне,
но ушел я,
сорвиголова,
сзади рухнули черные кони.

Натянула поводья рука,
и рассветного часа предтечи —
у стремян проплывают века,
осыпаются звезды на плечи.

* * *

Докурили в молчании трубки,
праздной суетности далеки,
словно высеченные из камня,
смуглолицые ездоки.

И, раздвинув годины, как ветки,
вижу, словно в просветах листвы:
снова предки
коней оседлали.
Я кричу им:
— Далеко ли вы?

Где коней расседлаете завтра,
где присядете возле огня?
Разглядеть сквозь усталые веки
вы сумеете ль ныне меня?

Мои мысли прочтете ль во взгляде
и поймете ль в подлунной нови,
что слыву,
как майман неподкупный,
я наследником вашей любви?

Где Кайчи, мой скакун быстроногий,
чтоб к любимой добраться я смог?
Ни коня, ни любимой,
лишь сумрак
на вершины окрестные лег.

Молчаливые предки куда-то
ускакали за темный хребет.
Кто тропу мне укажет к любимой,
кто подаст мне, как стремя, совет?..

В Каракольской долине уснули
деревья.
И таинственна мгла.
След копыт на траве еле виден,
еле слышно бренчат удила.

Огни
в горах

Это что там за огни
гаснут и не угасают
на седых вершинах гор?
Это кто, сложив сперва
дни и ночи, как дрова,
распалил во мне костер?

Это кто там в вышине
держит солнце на рогах,
скрывшись за грядой лесов?
Я взойду на перевал
и услышу, как марал
подает мне трубный зов.

Это что там за огни
гаснут и не угасают,
мой приковывая взор?
На вершину поднимусь,
выше славы вознесусь
я, рожденный среди гор.

Льются песни в вышине,
сладко сердце замирать
заставляя всякий раз.
И горят в горах огни,
и теплом дарят они
возвращающихся нас.

И на дне моих зрачков
очертанье вышины
издавна отражено.

Мне сквозь ночи
и сквозь дни
видятся в горах огни
с красным солнцем заодно.

Небо Азии

Я
за собою оставил
синее небо
открытым,
в котором прорезались
звезды,
как сонм человеческих глаз.
И, кажется,
небо хочет,
сделавшись следопытом,
в таинство жизни вечной
проникнуть не в первый раз.

Взгляд Кюль-Тегина
помню.
Умел лихой полководец,
словно
стрелой из лука,
взглядом пронзить
насквозь.
И мудрый взор
Тоньюкука
из незапамятной дали
брось на нас, время,
брось!

А солнце
проходит рядом,
лица моего
касаясь,
и золотые изделья
разбрасывает вокруг.

Мир этот древний
и юный
понять не сумел
досель я
с бездной
его позора,
с нагорьем
его заслуг.
Под тяжестью невесомой
язычники-скалы
осели,
откуда, как бубен,
луна
каждую ночь доселе
всплывает со дня
творенья,
словно из колыбели,
таинственности полна.
Мы тоже, как скалы,
осели
под тяжестью
гулкого неба,
не в силах сердцам,
как радарам,
завидную чуткость
придать,
чтоб из грядущего века,
не ради насущного
хлеба,
могли с упоительным
жаром
сигналы они принимать.

Но знаю:
уже трещала
башка голубого тюрка

от расщепленных мыслей,
которые напоминали
падение звезд
с вышины.
И тучи над предками
висли,
и ливни по лицам хлестали,
а мысли
на кручах надежды
будили тревожные сны.

Гром грохотал,
раскрывались
предков раскосые очи,
как семена пшеницы,
дремавшие
до весны.
Скользили по кручам
взоры,
покуда хватало мочи,
и с них срывались,
ликуя,
как боевые птицы
в час смертный,
себе верны.

И поднимались колосья
до самого синего неба,
но, опаленные зноем,
сгорали
в полях сухих.
Губ обескровленных крики
таяли в воздухе
немо.
Как синий орган —
безмолвье
окрест заглушало их.

Растрескались и поблекли
зеленых долин полотна,
и только небо
осталось,
где солнцу
вознесены
снежных вершин ладони,
которые не беззаботно
ловить,
забывая усталость,
грозы обречены.

И водопады по ребрам
нагорье бьют
в экстазе,
чтоб загудел, как прежде,
синий орган
тишины
и воскресил былое
в неторопливом сказе.
И верность хранил
надежде,
исполненный вышины.

И я за собою оставил
немеркнущим и открытым
небо,
Азии небо,
в котором
прорезались звезд глаза;
хотят они алчным взором
в суть бытия проникнуть:
льнет к тайным его
орбитам
мерцающая бирюза.

Это —
взгляд Кюль-Тегина,
это —
взгляд Тоньюкука,
оба в самую душу
стараются заглянуть.
Знай,
ветер седоголовый,
путь продолжая,
не струшу
перед тобой,
хоть снова
бросишься мне на грудь!

Выпал белый снег

Поздно вечером я возвращался с работы,
и мне было так хорошо, так легко, моя любимая!

Это выпал белый снег.

Когда я шел на работу, деревья теплыми были,
а теперь они стоят, как модницы, в серебряных
серьгах.
И провода, осев под тяжестью снега,
превратились в чудесные длинные ожерелья.
С крыш падали звучащие капли,
напоминавшие мне шустрых воробьев.

Маленький город стал белым и просторным.

Небо подарило мне белую косулю — зимнюю ночь
любви и спокойствия.

Когда я поздно вечером возвращался с работы,
навстречу мне шел мужчина, широко распахнув
тяжелое пальто,
веселехонький, как мой брат,
когда жена родила ему сынишку.

Когда я поздно вечером возвращался с работы,
я увидел влюбленных.
Он пригнул лапчатую снежную ветвь
и бережно стряхнул чистый снег на непокрытые волосы
своей возлюбленной.

Она засмеялась,
и от этого смеха снег тотчас растаял.
Вот что происходило,
пока я поздно вечером возвращался с работы.

Дептер[1] миниатюр

* * *

Снижу перед отъездом
я возле огня в тишине.
И красных очей
не сводит с меня
От-Эне[2].

Быть может,
зов предков
багрится в очах
От-Эне?
Но почему безъязыким
сделалось эхо во мне
накануне отъезда?

1968. Год Обезьяны, месяц Косули.

* * *

Осень,
исчезли летучие мыши,
венчаны листьями мокрые крыши.
Месяц Марала.
Приблизился птичий отлет.
Прыгать в седло
мне, джигиту, не внове,
шапку надвинув на самые брови,

---

[1] Дептер — свод, сборник.
[2] От-Эне — Мать огня, алтайское божество.

Лунной долиной
лошадь бросаю в намет.

1968. Месяц Марала.

* * *

Вспоминаю не без грусти я,
на дорогу выходя,
материнское напутствие,
косы позднего дождя.

Скально высь над бездной дыбится,
облачившись в облака.
И печальноликим видится
мне Алтай издалека.

1968. Месяц Гудящего Ветра.

* * *

Полузабытый месяц в вышине,
коней глухая поступь
и, знакомый,
летит навстречу,
прошуршав соломой,
осенний ветер
по седой стерне.

И не узнать мне, может,
никогда
тех песен, что певал мой
предок славно,
всю ночь в седле качаясь
неослабно.

И вторила вершин ему
гряда.

1963. Год Обезьяны.

* * *

В этот день в КНР было произведено испытание термоядерной бомбы в честь 75-летия Мао Цзэдуна. Маньяки играют судьбами мира. Протестую!

Там небо взорвано...
Туда,
став журавлем,
лечу печально.
Глаза расширились овально,
а туч
кровавится орда.

Лечу,
набравший высоту,
лечу
в последнюю дорогу
и, умирая на лету,
трублю над Азией
тревогу!

1968. Год Обезьяны, месяц Зимней Косули.

* * *

О, когда же
язычником быть перестану...
Утром белую спину
погладив туману,
в поднебесье стою,

и в безмолвной мольбе
вновь, Алтай
мой — Хангай,
поклоняюсь тебе!

1969. Год Курицы.

* * *

Однорукий табунщик
в верховьях реки Каракол...
Был солдатом,
с войны
в сорок пятом пришел.
И узнали соседи
в родной стороне,
что оставил Победе
он руку свою на войне.
А коней не оставил,
где травами
зыбится дол,
однорукий табунщик
в верховьях реки Каракол.

1969. Год Курицы.

* * *

На зиму скот забивают
в алтайском селенье,
и на жгучем морозе
пьют цейлонского чая
настой.

Слышен говор,
чье эхо гудит в отдаленье.
Крыши выбелил иней,

он синий,
густой.
В алтайском селенье
ядреный мороз.

1969. Год Курицы.

* * *

Минет тысяча лет,
и вослед
пролетит еще тысяча лет,
а на каменном склоне Алтая
будет вольно расти,
как растет,
буйно зеленью вечной блистая,
можжевельник...
Бессмертен народ!

1969. Год Курицы.

* * *

Забыв про седые метели,
встречая зеленые весны
и слушая вольные ветры,
скажите мне, черные ели,
скажите мне, синие кедры,
похож ли
средь ваших знакомых
я нравом на буйство черемух,
что заметью белого цвета,
ложится в преддверии лета
к ногам вашим в свете луны?

Почто не даете ответа,
деревья родной стороны?

1969. Месяц Кукушки.

* * *

Стремена звенят, но не вижу коня,
удила звенят, но не вижу коня,
блики костра на лице у меня,
пляшет в глазах моих отсвет огня.
Вижу коня, что белей молока,
бледного вижу на нем ездока.
Ужели однажды из царства теней
так всадник прискачет за жизнью моей?

1969. Месяц Малой Жары.

* * *

Белым гусем,
застигнутым бурею,
обессилев,
лечу я, скорбя,
и протяжно над осенью бурою
все кричу, вспоминая тебя.

1969. Месяц Возрождения.

* * *

Странной птицей —
Тенгери-теке
я себе предстал.
И проплывала,
чуть дрожа,
над гребнем перевала
синяя звезда невдалеке.

Мне казалось,
что звезда стонала
и на горы темные внизу
с высоты полуночной роняла
за слезой жемчужную слезу.

1969. Месяц Кукушки.

* * *

Очков округлые оконца,
лик смугловат, как отсвет дня...
Я встретил, помнится,
японца,
он был похожим на меня.
За неименем досуга,
в толпе,
где сутолочна близь,
мы удивленно друг на друга
лишь глянули
и разошлись.

1969. Год Курицы.

* * *

Шевелишь губами,
но опять
не могу ни слова разобрать.
И порой мне снится под луною,
рухнувшему в позднюю постель,
будто ты склонилась надо мною
и поешь,
качая колыбель.

1969. Год Курицы.

* * *

Хладеет небесная просинь,
желтеет на поле жнивье.
Прозрачна алтайская осень,
шесть лет, как не видел ее.

Колосья голодного детства
мы шли собирать налегке.
Куда нам от памяти деться?..
Слезинка ползет по щеке.

1969. Год Курицы.

* * *

Бранил жену,
но в тот же вечер,
воочию, как в первый раз,
увидел худенькие плечи
и две слезы в тумане глаз.

Вмиг сердце екнуло и сжалось,
осекся,
голову клоня,
и в грудь иглой вонзилась
жалость:
— Прости, воробушек, меня!

1969. Год Курицы.

* * *

Тяжел Год Курицы, тяжел.
Коль верить древнему преданью,
он соответствует названью.

Из жизни человек ушел,
мой друг Берден,
а был он добрым малым,
охапки сена выносил маралам...
Тяжел Год Курицы, тяжел!

1969. Год Курицы.

* * *

Приехав без билета на вокзал,—
«Отсюда к дому ближе»,—
он сказал.
И, засвистев мелодию, понятную
ему лишь только,
поезд проводил.
Когда бы пред учебой на понятную
он смог пойти,
дорогою обратною
сегодня на Алтай бы укатил.

1970. Месяц Кукушки.

* * *

Длинногривый
ливень черный
ливню вслед летел вдоль скал.
На скаку из кручи горной
стрелы молний высекал.
И на склонах Кулгайры
грома сталкивал шары.

1970. Месяц Малой Жары.

* * *

Над алтайской каменной грядой
я родился —
ветер молодой.
Кажется, в безмолвье синевы
я с тугой сорвался тетивы.
Погулять бы мне по белу свету,
собственной судьбы оставить мету.

1970. Месяц Малой Жары.

* * *

Подобна замерзшему озеру
холодная синева...
И пиале подобна
звонкая синева...
Слова, что сказаны были,
цветы, что едва не раскрылись...
Ушел...
И увяли они...

1969. Год Курицы.

* * *

Вниз летит по Иртышу
одинокий дикий гусь,
задыхаясь, не кричит,
машет крыльями едва.

Ах, не все ль ему равно,
то начало иль конец?
Ведь до устья дотянуть
не сумеет дикий гусь.

1969. Год Курицы.

* * *

Стародавнюю песню
всю ночь напролет
пели кедры,
завидев, как тучи,
наползая на белые кручи,
со снегами вели хоровод.
И на север
все дальше летели,
их полет становился могуч.
И гудели во чреве метели
у косматых беременных туч.

1969. Год Курицы.

* * *

Небо. Ночь. Деревня. Дерева.
Где-то близко ухает сова.

1971. Год Кабана, месяц Архара.

* * *

Белый снег. Звонкий воздух.
В обугленном небе
зоркие звезды,
как рысьи глаза
в темноте.

1971. Год Кабана.

* * *

На опустевшем стойбище
седая коновязь.
Ленивый зной.
И оводы жужжат.

1969. Месяц Большой Жары.

Баллада
о первых русских словах
и старике Бушалдае

Отец мой был парторгом колхоза тогда.
По утрам, неумело постучав в деревянную дверь,
к нему приходили мужчины в мохнатых белых шубах.
Они приносили с собой запах овчины, снега, снежной
хвои
и зимний холодок открытого неба.

Они подсаживались к отцу и говорили:
«На стоянке Ак-Кем не осталось кормов».
Или:
«Табун застоялся в верховьях Карасу.
Пока не закрыло перевал, надо коней перегнать ниже,
туда, где нет ветра и где еще стоит поздняя трава».
Они говорили:
«Бабушка Туйкандай совсем одна.
Ей надо выхлопотать пенсию
и оказать зимнюю помощь.
Отрядите парней, чтобы они привезли ей дрова.
Пошлите Бердена — пусть он застеклит ей окна».

Целый день приходили и уходили люди.
Но особенно много их бывало по утрам.
Они приходили к нам домой, потому что отец
сидел за столом со своими новенькими костылями:
неподкованный конь упал на молодом льду
и сломал отцу правую ногу.

Входившие люди казались нам, малышам,
сказочно огромными.
Это были табунщики, пастухи, охотники.
Они только раз в месяц спускались в село,
делая две остановки: у конторы и магазина.
В магазине они брали муку, соль,
комковый сахар, табак.
И еще немного конфет для таких же, как мы,
сорванцов.

Они набивали свои переметные сумы этим товаром,
неспешно отвязывали коней
и скакали обратно.
Они ночевали прямо на земле:
под голову — седло,
под бок — потник,
а одеялом служила жаркая мохнатая шуба.
На медленном небе над ними тихо кружились звезды,
освещая их усталые лица.
И только кони время от времени
встряхивали головами.
Но сейчас я хочу рассказать о старике Бушалдае.
Утром холод из двери добирался до меня
и шарил у мальчишки за пазухой.
Медлительно затворялась дверь,
и в дом входил Бушалдай.
Он долго кряхтел у порога,
старательно отряхивал ноги
и только потом окончательно входил к нам.

Он в тщательно сшитых из ножек косули
мягких сапогах на крепких тесемках.
Его шуба украшена красной оторочкой,
потребовавшей бездны искусства.

Шуба его охвачена синим матерчатым поясом,
который заменяет у нас кошельки и карманы.
На правом боку Бушалдая обязательный нож
с красивой костяной ручкой.

Лисий хвост целиком пошел на воротник его шубы.
Оттуда, из пушистого воротника,
вылезает очень морщинистая старая шея.
Его редкая бородка состоит из шести узких струек
индевелого дыма.
А из-под рысьей шапки на меня и мою сестренку
глядели добрые внимательные глаза.
«Драстый!»—
произносил он, не переставая обеими ладонями
оттирать замерзшее лицо,
отделяя сосульки со своей неказистой бородки.
Ах, это русское слово!
В нем было что-то несказанное,
напоминающее нам реку, известную только
одному Бушалдаю:
она стремительно неслась вниз, бушуя в распадках,
разъединяясь и сливаясь вновь.
Мы с сестренкой, ликуя, прыгали возле большой
шубы деда и теребили ее заманчивые полы.
Отец широко улыбался:
«Якши, Бушалдай!»

Потом они пили кирпичный чай,
красный, как хорошо обожженный кирпич.
Старик старательно дул на поверхность чая
и отхлебывал из чашки мелкими глотками.
Они говорили с отцом о табунах, об овсе,
о войне в Корее и атомной бомбе.
Они говорили о том, что на верхних стойбищах

не хватает соли.
Наговорившись и столковавшись,
они пожимали друг другу руки,
и старик несколько раз повторял
еще одно русское слово «карашо».
Потом садился на мохнатого крепкого конька
и уезжал.

Отец мой умер.
Ему было бы сейчас шестьдесят.
А Бушалдай жив,
ему почти девяносто.
И я, приезжая домой на каникулы,
обязательно навещаю его.

Я вхожу в дом и с удовольствием говорю:
«Здравствуй!»
Уважаю табунщиков!
Старик, правда, теперь на пенсии,
возраст его преклонен,
но такой человек, как он, не может сидеть сложа руки.

«Здравствуй!»— говорю я почтительно.
А потом мы пьем чай, красный, как кирпич,
и говорим о весне, об овсе, о войне во Вьетнаме.
О выходе в космос обязательно и подробно.
И еще о том, что на верхних стойбищах
не хватает транзисторов.

У меня огромный запас слов.
Но я не забываю два своих первых русских слова —
«здравствуй» и «хорошо»,

которым меня научил старик Бушалдай,
почти что не знавший по-русски.
Ведь в этих словах так много
самого главного — тепла и доброты.
На чем я и заканчиваю.

Баллада
об алтайской поговорке

Когда говорят, что тесен
стал мир под луною, который
еще недавно казался
бескрайним и безграничным,
когда говорят, что ныне
стало далекое близким,
я про себя улыбаюсь
и вспоминаю снова
пророческого чекана
древнюю поговорку.

В седьмом иль девятом колене
искуснейших словотворцев
моих смуглолицых предков
она родилась на свет.
В ту пору лихие майманы
и мужественные иркиты [1]
в широкое лоно России
по собственной воле влились.
И кто-то, кто слыл златоустом,
слова оперив, точно стрелы,
изрек, словно в воду глядел:
«Наступит пора и Московья
алтаец сумеет достигнуть
от дойки до дойки коров,
а до Петербурга добраться
алтаец сумеет за время
между очередными доениями кобылиц...»

[1] Иркиты — алтайское племя.

Мохнатые смуглые предки,
седые, как зимние зайцы,
сухие, как трут перед искрой,
кочевники и табакуры,
не мудрствовавшие лукаво,
воины и дипломаты.

Они позапрошлого века
изустной и летописной
уйгурской истории были
действительными знатоками.
От них исходило дыханье
возвышенных истин Тибета
и ливней Большого Хингана,
и желтых тигриных самумов
пустыни по имени Гоби.
От них исходило дыханье
арчина[1] под сводом кумирен
и пороха, что оставляет
аспидные облака.

Рекли они, словно стреляли,
слова их не знали промашки,
как меткие пули иль стрелы.
(Ибо ружья и луки
имели предтечи мои.)

Теперь от преданий старинных
к дням нынешним мост наведем.

В здании аэропорта,
будто в райцентровской чайной,
где для заезжих алтайцев
и для продубленных ветром

---

[1] Арчин — алтайский можжевельник.

искусных водителей с тракта
котлеты найдутся всегда,
односельчанку однажды,
что в Ленинград улетала,
я повстречал ненароком.
Землячка моя рассказала,
что месяца Малой Жары
там, дома, страда наступила
(тепло и работы полно).
«На пастбищах буйствуют травы,
а в рощах зеленых кукуют
кукушки по тысяче раз».
(Кукуют, кукуют кукушки,
столетних старух обнадежа,
а молодые — беспечны,
лишь до ста считают, смеясь.)

Поведала односельчанка,
что дочка моя подрастает
и хорошо по-алтайски
уже без умолку лопочет,
и бегает вниз по тропинке,
на луг, выгоняя ягнят.
«Такой она шустрою стала,
что бабушке нету с ней слада».
И я улыбался блаженно,
как будто бы нашим алтайским,
чистейшим и наисладчайшим
я воздухом снова дышал.

Еще сообщала землячка,
что многие парни вернулись,
положенный срок отслужив.
В числе их домой возвратились
и старших два сына Мёрюша
(мои троюродные братья).

И вспомнилось мне, что недавно,
полгода тому, я в их доме
(от сына Мёрюша — Мёдея)
со штемпелем почты армейской
письмо развернул и прочел.
Писал он о том между прочим,
что за ночь во время учений,
державу от Владивостока
до Мурманска всю пересек.

Не разглашая секретов,
писал он, как звездной дорогой
летел над горами Алтая
и как приземлился в бескрайней,
Казахской подлунной степи,
как вспомнил при этом он строки
главы из «Алып-Манаша» [1],
которая повествует
о том, как летел над горами
гусь белый с письмом на крыле,
написанным собственноручно
богатырем знаменитым.

Мёдею пришлось туговато,
ведь день своего он рожденья
мог встретить, летя в поднебесье,
лишь песнею, спрятанной в горле,
без араки и без водки.
Но видел он отчие горы.
Они сквозь лиловую дымку
светились ему на удачу
и тем молчаливо гордились,
что сын их летит так высоко,

[1] Алы́п-Мана́ш — алтайский героический эпос.

куда вознестись не способен
могучий царь птиц — Кан-Кереде...
Я слушал соседку и думал:
давно ли Майчиков Мёрюш
гонял в Онгудай ежедневно
свою пароконную бричку,
которая наибыстрейшим
тягловым средством была
в горной долине
кануна
послевоенной поры...
Отвлекся... А женщина эта
поведать спешила, что ныне
на фермах отменный удой,
а значит, Дима́ну — мой шурин,
молоковоза водитель,
отбил все печенки себе,
мотаясь к урочищам дальним,
где дойные ходят гурты...
Отвлекся... А женщина эта
поведать спешила, что в сроки
крестьяне закончили сев,
а значит, вздохнул облегченно
мой брат инженер, и вторично
тогда он вздохнет облегченно,
когда стригали отличатся
и кончится сдача руна.
И если пойдет все как надо,
то брат мой по третьему разу
вздохнет облегченно и крякнет
за стопкой во время байрама [1]
и не помянет он лихом
дни месяца Малой Жары.
Но вот объявили посадку,
простилась со мною землячка,

[1] Байрам — праздник.

что в классах начальных давненько
учительствует на селе.
Махнула рукой мне: — До встречи!—
Как было не знать ей, что скоро
мы дома увидимся с ней.
Она улетела, и вслед ей
глядел я,
как будто омытый
дождем голубого июня.

В край возвратившись родимый,
лето в разгаре застану.
Кто кроме близких заметить
сможет приезд мой в страду?
Косу возьму и, как ране,
утром, чуть свет, с косарями
выйду... (Тогда и заметят.)
Лучшего отдыха, право,
чем на косьбе, не найти.

Пух тополиный кружился,
и думал о том я, что предки,
как ясновидцы, сумели
предугадать в поговорке,
что от Москвы до Алтая
можно добраться свободно
за пять часов.
Это значит,
можно добраться за время
между доеньем коров.

* * *

На Новодевичьем,
что ни день,
женщина клонится
(или былого тень?)
старой ветлой
над бездушной могилой:
«Ми-илый!
Слезами уже не помочь —
слез нет,
ми-илый!
Вижу тебя, что ни ночь,—
рванусь — а тебя нет,
милый!
Увижу тебя во сне,
в бреду
(милый!)
и за тобою во сне
бреду
(милый!).
О, как ты близок! —
О, как далек,
милый...
Уходишь
любой из ночных дорог...
Милый...
Крикну вслед,
а тебя нет.
Сон ли? Бред?»
По Новодевичьему,
что ни день,

ходит
старой
женщины
тень.
Так тридцать три года.
Явь? Сон?
А с четырех сторон —
замкнутый круг
древесных костлявых рук...

Или женщина говорит,
или ветви шуршат над могилой:
«Я пришла к тебе,
милый...
Я пришла к тебе,
милый...»

Песня о веселом всаднике

Скачет всадник в тумане вечернем
И свистит —
Видно, парень лихой.
Звук копыт — как чеканка по черни.
Звонкий топот летит над рекой.

И протяжно откликнулись эхом
Все печали мои, чтобы вмиг
Отлететь и пропасть,
чтобы смехом,
Свистом стать у порогов речных.

Гей ты, всадник, алтайский наездник,
Ясноглазый мой брат на земле!
Свист и клики,
и топот,
и песня,—
Так услышал тебя я во мгле!

От пастушьих костров — медноскулый,
Как и я —
Только ты веселей:
В дальнем городе с суетным гулом
Нет урочищ таких и полей...

Хорошо, что мы вдруг повстречались,
Хоть во тьме ты не видел меня.
Застит только туман —
Не печали —
Путь мой долгий, рассветом маня.

Только все ж
Я жалею немного:
Нет второго коня, чтоб двоих
Ветром скачки пьянила дорога
И несла до отрогов крутых,

Чтоб он тоже назвал меня братом,—
Этот парень горластый, лихой.
Чтоб хватило мне
Воли крылатой
До скончания века с лихвой!

Возвращение

Да! Пора мне, пора мне к любимой своей
возвратиться
С незнакомым цветком и напевом чужой стороны.
Время машет крылом.
Стало сердце мое торопиться,
Словно чуткая птица, очнувшись от ветра весны.

По дороге предгорий пойду я все выше и выше,
Где дожди, как отары, блуждают по травам и мхам,
Где туманом тяжелым земля каменистая дышит,
Где дается начало
дождям,
водопадам,
векам.

Тут и эхо вопросом ко мне возвратится:
— Кто там в сумерках поздних идет по дороге моей?..
Не успею сказать —
уж оконце во тьме загорится...
Звезд полно во Вселенной, но света не надо милей.

Сами руки взметнутся и лучшую песню на свете
По ее волосам пропоют.
И заплачу я, слез не стыдясь.
И опять не успею, опять не сумею ответить,
Тосковал ли вдали,— так стремительно
встреча сбылась!..

...Только что там?
Квадрат световой искривился,
Стал туманным пятном и в тумане исчез!
Видно, камень-колдун надо мной поглумился,
Покривился беззвучно и в нору залез.

Где ты, дом у дороги, и эта ль — дорога свиданья?
Где ты, женщина жизни,
о, эхо ночное, ответь!
Неужели все то, что берег и лелеял годами,—
Все! — успело забыться, забыть, изменить, умереть.

Здесь должны были цвесть
твои нежные терпкие губы,
И мои, как от пчел, запылать и болеть.
Ах, как ветер гудит! Как судьбы заливаются трубы!
Я один. Я один... И боюсь без любви умереть.

* * *

Народ мой с грустными глазами,
Вот горы и леса твои.
А над горами и лесами,
Как ветры, голоса твои.

Песнь вековечная не может
Уйти в забвенье, как в песок.
И дума вечная тревожит,
Смиряет сердце, жжет висок.

Там, за отрогами столетий,
Начало, скрытое во мгле.
Вершина жизни, пропасть смерти —
Вы, как и прежде, на земле.

Сказанье о долготерпенье
В старинной песне слышу я,
Но в ней — надежды и стремленья
Звенит прозрачная струя.

Не только счастья и достатка
Теперь настали времена,
И не поет умильно-сладко
Повествования струна.

Настало время осмысленья
И узнавания себя.
Ясней понятья: поколенье,
Народ и Родина. Судьба.

Мечта, что стала явью зримой,
Рождает новую мечту,
Ведя дорогою торимой
За перевалы, в высоту.

Содержание

5 «Голубая на востоке...» *Перевод Я. Козловского*

6 Наброски горных равнин. *Перевод Я. Козловского*

10 «Как-то раз проснулся я...» *Перевод Я. Козловского*

11 Деревня. *Перевод Я. Козловского*

12 «Под луной я не худший самый...» *Перевод Я. Козловского*

13 Поле. *Перевод Я. Козловского*

14 Песнь о бегущих девушках. *Перевод Я. Козловского*

16 Песнь молодого маймана. *Перевод Я. Козловского*

21 Огни в горах. *Перевод Я. Козловского*

23 Небо Азии. *Перевод Я. Козловского*

28 Выпал белый снег. *Перевод Я. Смелякова*

30 Дептер миниатюр. *Перевод Я. Козловского*

42 Баллада о русских словах и старике Бушалдае. *Перевод Я. Смелякова*

47 Баллада об алтайской поговорке. *Перевод Я. Козловского*

53 «На Новодевичьем...» *Перевод А. Медведева*

55 Песня о веселом всаднике. *Перевод А. Медведева*

57 Возвращение. *Перевод А. Медведева*

59 «Народ мой с грустными глазами...» *Перевод А. Медведева*

Бедюров
Бронтой Янгович

Песни молодого маймана
Стихи

Редактор **Л. Дубаев**

Художник **В. Медведев**

Художественный редактор **Б. Мокин**

Технический редактор **Л. Киселева**

Корректоры **Н. Пехтерева, А. Сморчкова**

Сдано в набор 24/III—1975 г. Подписано к печати 8/VIII—1975 г. А12916. Формат изд. 70×90¹/₃₂. Бумага для глуб. печ. Печ. 2 л. Усл. печ. л. 2,34. Уч.-изд. л. 1,93. Тираж 7500 экз. Заказ № 1861. Цена 19 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4.

Рязанская областная типография 390012, Рязань, ул. Новая, 69.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу:

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4. Издательство «Современник»

19 кол.

Первая книга в столице